

Иван Александрович Гончаров

Счастливая ошибка

**Гончаров Иван
Александрович
Счастливая ошибка**

И. А. Гончаров

СЧАСТЛИВАЯ ОШИБКА

Господи Боже Ты мой! и так много
всякой дряни на свете, а Ты еще
жинок наплодил!

Гоголь

Шел в комнату - попал в другую.

Грибоедов

Однажды зимой в сумерки... Да! позвольте прежде спросить, любите ли вы сумерки? Я "слышу молчание", а молчание есть знак согласия: стало быть, любите. Да и как не любить сумерек? кто их не любит? Разве только заблудившийся путник с ужасом замечает наступление их; расчетливый купец, неудачно или удачно торговавший целый день, с ворчаньем запирает лавку; еще - живописец, не успевший передать полотну заветную мечту, с досадой бросает кисть, да поэт, житель чердака, грозит в сумерки проклятиями Аполлона лавочнику, который не отпускает в долг свечей. Все прочие любят это время; не говорю уже о простом народе, мастеровых, работников, которые, снедая в поте лица хлеб свой, покладывают руки от тяжелого труда, нако-

нец, магазинщицах, которые, зевая за иглой при Божьем свете, с детской радостью надевают шляпки и спешат предаться увеселениям. Но то существенная, прозаическая радость, а в сумерках таятся высшие, поэтические наслаждения.

Благословен и тьмы приход!

сказал Пушкин. Не есть ли это время нежной, мечтательной грусти, - не той грубой, неприятной грусти, которая изливается днем, при всех, горючими слезами, причины которой так тривиальны - крайняя бедность, потеря родственников и проч.; грусти, например, от невнимания любимой особы, от невозможности быть там, где она, от препятствий видаться с нею, от ревности? Не есть ли это, краснея скажу, время сладостного шепота, робкого признания, пожимания рук и... мало ли еще чего? А сколько радостных надежд и трепетных ожиданий таится под покровом сумерек! сколько приготовлений совершается к наступающему вечеру! О, как я люблю сумерки, особенно когда переносюсь мысленно в прошедшее! Где ты, золотое время? воротись ли опять? скоро ли?...

Посмотрите зимой в сумерки на улицу: свет борется со тьмою; иногда крупный снег вступает в посредничество, угождая свету своею белизною и увеличивая мрак своим облаком. Но человек остается праздным свидетелем этой борьбы: он приумолкает, приостанавливается; нет движения; улица пуста; дома, как великаны, притаились во тьме; нигде ни огонька; все предметы смешались в каком-то неопределенном цвете; ничто не нарушает безмолвия, ни одна карета не простучит по мостовой: только сани, как будто украдкою, продолжают сновать вечную основу по Невскому проспекту. Одним словом, кажется, настала минута осторожности... а в самом деле эта минута есть, может быть, самая неосторожная в целом дне: зимой в сумерки совершается важный, а для некоторых наиважнейший, процесс нашей жизни - обед; у первых он состоит в наполнении, у вторых в переполнении желудков и нагревании черепов искусственными парами, - сообразите следствия от этих двух последних обстоятельств.

Теперь войдемте в любой дом. Вот общество, собравшееся в гостиной: всё тихо, без-

молвно; никто не шевелится; разговор медленно вяжется слово за слово, поминутно перерываясь и не останавливаясь на одном предмете. Вглядитесь в физиономии: это самая лучшая, самая удобная минута для изучения настоящего характера и образа мыслей людей. Посмотрите, как в сумерки свободно глаза высказывают то, что задумала голова, как непринужденно гуляют взоры: они то зажигаются страстью, то замирают презрением, то оживляются насмешкой. Тут подчиненный смело меряет глазами начальника с ног до головы; влюбленный смело пожирает взорами красоту возлюбленной и дерзает на признание; взяточник, хотя шепотом, однако без ужимок объявляет, какую благодарность и в каком количестве чаял бы он получить за дельце, - сколько доверенностей рождается в потемках! сколько неосторожных слов излетает!... Но вот несут свечи: вдруг всё оживилось; мужчины выпрямились, дамы оправились; разговор, медленно катившийся до тех пор, как ручеек по камешкам, завязывается снова, вступает, подобно могучей реке, в берега, делается шумнее, громче. А какая переме-

на в людях! подчиненный уж смотрится в лакированные сапоги начальника, влюбленный стоит почтительно за стулом возлюбленной, взяточник кланяется и приговаривает: "Что вы! что вы! какая благодарность! это мой долг!" - неосторожные раскаиваются в своей доверенности, и взоры перестают страстно глядеть; место презрения заступает сухое почтение или страх. О! будьте только сумеречным наблюдателем... "Но наблюдать, - скажут мне, - в сумерки неудобно, темно". - "Ах, в самом деле! ваша правда". - "Да как же вы упустили это из виду? забыли?" - "Нет-с, не догадался".

Однажды зимой, в сумерки, сопровождаемые всеми вышеизложенными обстоятельствами, то есть падением снега и безмолвием на улицах, - не то из Садовой, не то из Караванной выскочил на Невский проспект, как будто сорвавшись с цепи, лихой серый рысак, запряженный в маленькие санки, в которых сидел молодой человек. Далеко вперед закидывало стройные ноги благородное животное, гордо крутило шею, быстро несло по улице; но седок всё был недоволен. "Пошел!" -

кричал он кучеру. Напрасно сей вытягивал руки во всю длину, ослаблял вожжи и вставал с места, понукая рысака. "Пошел!" - кричал седок. Но ехать скорее было невозможно: и так пешеходы, которые пускались, как вброд, поперек улицы, при грозном оклике кучера, вздрагивая, пятились назад, а по миновании опасности, плюнув, с досадой приговаривали: "Вот сумасшедший-то! эка сорвиголова! провал бы тебя взял! напугал до смерти!"

С Невского кучер поворотил в Морскую и после минутной езды остановился у двухэтажного дома аристократической наружности, с балконом и большим подъездом. Молодой человек вошел в сени. Нигде в доме не было еще огня: сумерки царствовали начиная с сеней. Там швейцар, сидя перед огромной печью, по временам помешивал кочергой жар и напевал вполголоса унылую песенку. В стороне тянулась лестница с позлащенными перилами.

- Дома господа? - спросил молодой человек.

- Должно быть, что дома-с, - отвечал швейцар. - Вот я позвоню.

- Не нужно! - сказал тот и опрометью, как на приступ, бросился на лестницу.

В передней сумерки были еще ощутительнее: из углов, где царствовала настоящая, прямая темнота, несло храпенье; лакеи спали, вознаграждая себя вперед за предстоящие труды и вечернюю суматоху. Молодой человек остановился перед тремя дверьми в нерешимости, в которую идти. "Отдамся на волю сердца: оно не обманет и поведет прямо к ней", - подумал он и отворил среднюю дверь. Пройдя залу и диванную, он пропал в коридоре, из которого лесенка в четыре ступеньки вела вверх.

С трепетом в сердце, на цыпочках, подкрался он к библиотеке, и вдруг этот теплый, сердечный трепет превратился в холодный, лихорадочный озноб, когда он вошел в комнату. Там на мраморном столике чуть теплилась лампа и освещала лица двух стариков, которые, сидя в вольтеровских креслах друг против друга, сначала, вероятно, беседовали и потом утопили свою беседу в сладкой дремоте.

Не только молодого человека, который

ожидал встречи пламенных черных глаз, но всякого охватил бы озноб при взгляде на одного из спавших стариков. Вообразите огромную лысину, которая по бокам была вооружена двумя хохолками редких седых, стоячих волос, очень похожими на обгоревший кустарник; вскоре после лысины следовал нос: то был конус значительной величины, в который упиралась верхняя губа, помещенная у самого его основания, а нижняя, не находя преграды, уходила далеко вперед, оставляя рот отворенным настежь; по бокам носа и рта бежали две глубокие морщины и терялись в бесчисленных складках под глазами. Сверх того, всё лицо было испещрено самыми затейливыми арабесками. Таков был действительный тайный советник барон Карл Осипович Нейлейн, владетель этого дома. Другого старика не знаю; вероятно, приятель барона; физиономия его была, однако ж, гораздо благопристойнее. Оба они покоились сном праведника, хотя лицо первого пристало бы самому отчаянному грешнику.

"Вот поди, вверяйся сердцу, куда оно заведет!" - с досадой сказал молодой человек и, по-

вернув назад, вошел в маленькую диванную. Там, свесив одну ногу, а другую поджав под себя, сидела на богатом оттомане и также дремала, запрокинув голову, супруга барона. Подле нее лежала моська, которая, при появлении молодого человека, заворчала. Он, чтоб не возбудить тревоги, поспешно отправился назад.

"Что за встречи! Где же Елена? - подумал он и остановился в нерешимости куда идти. - Здесь все сидят попарно. Поспешу сыскать ее для симметрии: нас будет также пара". - В эту самую минуту в соседней комнате раздался звучный аккорд на фортепиано, и молодой человек бросился как будто на призыв.

Пора, однако, сказать, кто таков был он, зачем пожаловал в такую пору в чужой дом, почему так своевольно расхаживает и чего отыскивает. Звали его Егор Петрович; он происходил из знаменитого рода Адуевых и был отдаленнейший родственник барона Нейлейн; приехал в дом к нему по двум причинам - одной обыкновенной, другой необыкновенной: первая - родство, как выше сказано, а вторая - любовь к прелестной восемнадцатилетней

летней дочери барона Елене, милой, стройной, пламенной брюнетке, которую он и отыскивал в потемках.

Он уже намекал ее родителям о своем намерении жениться на ней, а они намекнули ему, что они рады такому союзу, потому что Адуев - разумеется, они этого не сказали ему - имел три тысячи душ и другие весьма удовлетворительные качества жениха и мужа и вдобавок привлекательную наружность - обстоятельство, заметим мимоходом, весьма важное для Елены. Из этих обоюдных намеков возникло дело довольно ясное, приведенное в большую ясность молодыми людьми.

При всем том Егор Петрович иногда жаловался, что он совсем не так счастлив в любви, как бы ему того хотелось. Сам он любил пламенно, со всею силою мечтательного сердца; даже думал, что любовь его к Елене есть окончательный расчет его с молодостью, что сердце, истомленное мелочными связями без любви, ожесточенное изменами, собрало наконец, после неудачных поисков предмета по себе, последние силы, сосредоточило всю энергию и ринулось на отчаянную борьбу, из

которой, как казалось ему, оно выйдет после неудачи разбитое, уничтоженное и неспособное более к электрическому трепету сладостного чувства. Что же бы оставалось ему в жизни после этой невозвратимой утраты? Любя Елену и будучи любим ею, он смотрел, при этих условиях, на жизнь как на цветущий сад, на любовь к Елене как на последнюю купу роскошных деревьев и гряду блестящих цветов, растущих у самой ограды: без этого жизнь представлялась ему пустым, необработанным полем, без зелени, без цветов...

Адуев жаловался не напрасно: на любовь его Елена отвечала едва приметным вниманием, мучила своенравием и капризами, которые не испортили бы характера какого-нибудь азиатского деспота; сверх того... но об этом будет говорено ниже, особо. Впрочем, она позволила себе такие поступки тогда, когда уже измерила степень, до которой достигла любовь Адуева к ней, когда уверилась, что обратный путь был для него невозможен и что он находится между двумя крайностями - страданием и блаженством. Не злодеяние ли

это? на вас пошлюсь, mesdames.

После всего этого чего бы, кажется, искать ему? Зачем унижать себя страстью, которой не поймут и не разделят? Зачем! какие вы смешные! Спросите у влюбленных. Слепление: вот всё, что можно сказать в оправдание им! Одни только они могут утешаться там, где при другом расположении духа следовало бы прийти в отчаяние; зато бывает и наоборот. Егору Петровичу, например, иногда казалось, - а может быть, и в самом деле так было, - что когда взор Елены покоился на нем, то сверкал искрой чудного пламени, потом подергивался нежною томностию, а щеки разгорались румянцем; или порой, склонив прелестную головку к плечу, она с меланхолическою улыбкою внимала бурным излипаниям кипучей страсти, выражавшейся языком, который сначала своею дикостию и необузданностию не согласовался с ее хотя прихотливым, избалованным, однако все-таки чистым, скромным, девическим характером. Впоследствии же, когда она разгадала степень его привязанности, то увидела, что и этим восторженным языком он не в состоянии пере-

дать и половины того чувства, которое бушевало в нем. Егор Петрович утешался, видя это, но, к несчастью, он видел и то, что она так же прилежно внимала таинственному шепоту камер-юнкера князя Каратыжкина, так же неподвижно останавливала взор на пестром мундире ротмистра Збруева: разница была только та, что они не давали ей задуматься ни на минуту, а иногда все три голоса их сливались в дружный хохот. Он не мог выносить этого адского трио и бежал прочь, с горечью в душе.

Всё это доводило иногда Адуева до раздражительности. "Зачем она так нежно смотрит на меня? - думал он, - зачем, ну зачем ей так смотреть?" - а потом мысленно сам же отвечал: "Зачем! смешной вопрос! затем, что любит; ну да, конечно любит! Она сама говорила это". Вслед за этим ему слышались другие вопросы: "А зачем она пристально посматривает на князя Каратыжкина и Збруева? зачем всё им улыбается и никогда на них не сердится, как, например, на него? и что она шепчет им?" На последние вопросы Егор Петрович не находил ответа и сердился.

В самом деле, каким именем назвать это поведение Елены? Адуев, в припадке бешенства, называл - заметьте, пожалуйста, mesdames, Адуев, а не я - называл... позвольте, как бишь?.. Эх, девичья память! из ума вон... Такое мудреное, нерусское слово... ко... ко... так и вертится на языке... да, да! - кокетством! кокетством! Насилу вспомнил. Кажется, так, mesdames, эта добродетель вашего милого пола - окружать себя толпою праздных молодых людей и - из жалости к их бездействию - задавать им различные занятия. Это, как называл их опять тот же Адуев (он иногда страдал желчью), род подписчиков на внимание избранной женщины: подписавшиеся платят трудом, беготней, суматохой и получают взамен робкие, чувствительные, пламенные, страстные взоры, хотя, конечно, искусственные, но нисколько не уступающие своею добротой природным. Иным достаются даже милые щелчки по носу веером, позволение поцеловать ручку, танцевать два раза в вечер, приехать не в приемный час; но чтобы заслужить это, надобно особенное усердие и постоянство.

Бежать от Елены, скрыться от своей любви, заплатить за охлаждение презрением - Егор Петрович был, как сказано выше, не в состоянии. Сверх того, в нем еще тлелась искра надежды на счастье: он изучал ее характер в ожидании, что наконец ей надоест суетность, наскучат со временем бесплодные торжества самолюбия; что чувство истинной любви возьмет верх и по-прежнему, а может быть и сильнее, заговорит в его пользу; оттого единственно он и откладывал требование ее руки.

Со страхом испытать какой-нибудь новый каприз и с надеждою застать Елену одну - вступил он в комнату, где раздались звуки фортепиано; но, увы! и там была пара. Подле Елены сидела рыжая англичанка и вязала шарф двумя костяными спицами непомерной длины. Вскоре, однако ж, дуэнью вызвали по хозяйству, и она более не возвращалась. Какое счастье! Он наедине с нею.

Елена Карловна была мила и любезна, Егор Петрович любезен и мил: мудрено ли, что судьба свела их в маленькой зале? кому же после того и сходиться, как не им? ужели старому барону с женою?.. фи! как это можно!

они сами чувствовали всё неприличие, всю гнусность такого поведения и оставались каждый на своей половине, а если сходились, то только за обедом, да при гостях, и то в приличном друг от друга расстоянии, как следует благоразумным и степенным супругам.

Елена мельком взглянула на Адуева, едва отвечала на грациозный поклон и начала сильнее и чаще прежнего брать аккорды, показывая вид, что вполне предалась музыке. Он молча, с восторгом, смотрел на нее.

- Отчего вы не пошли к папеньке, а прямо явились ко мне? - спросила она сухо.

- Нйline! - отвечал Егор Петрович голосом, в котором выражался нежный упрек.

- Mademoiselle Нйline или Елена Карловна, если вам угодно! Вы становитесь слишком фамильярны: скоро станете звать меня Аленушкой.

- Нй...ли...ne! - с трепетом в сердце и голосе проговорил молодой человек.

- Егор Петрович, - спокойно отвечала она, смягченная избытком нежности, невольно изменявшей голосу и взорам Адуева.

- Итак? - тоскливо произнес он после долго-

го молчания.

- Итак! - насмешливо повторила она, живо перебирая клавиши.

- Вы шутите, Елена Карловна.

- Совсем нет! Я стараюсь подделаться под расположение вашего духа и под ваш тон, чтоб угодить вам. Кажется, нельзя требовать большего внимания.

- Если б я не был уверен, что это шутка, то...

- То?..

- Удалился бы давно.

- Ах, это новое! - с колкостью заметила Елена, - я еще не испытала. Чем же, однако, вы недовольны? Я всегда рада свиданию с вами: вы, я думаю, по моим глазам видите это. К вам я внимательнее, нежели к другим; с другими я стараюсь, для приличия, быть только любезной.

- Только из приличия!.. Стараться быть любезной - нельзя, баронесса: это дар неприобретаемый. Кто любезен, - тот - поверьте! - не старается; притом же есть границы истинной любезности, а ваше обращение с князем Каратыжкиным и Збруевым...

- А!.. вот что! так вам не нравится мое обра-

щение с ними? да отчего же? Напротив, вы, кажется, должны радоваться их вниманию ко мне: это живой аттестат моим достоинствам, справедливая дань, как говорят они...

- Слушайте их!

- Что ж? разве не правда? Вы, я думаю, одного мнения с ними: по крайней мере любовь ваша доказывает это.

Адуев закусил губу.

- Но ваша холодность, странное обращение со мной - становятся несносны! - сказал он.

- Не сносите.

- Скажите мне с прежнею искренностью, которой я не вижу в вас более, любите ли вы меня?

- Как это скучно! одно и то же! Ответ вы давно знаете.

- Но с тех пор многое могло перемениться, и переменялось! - Он вздохнул.

И она вздохнула.

- Баронесса, меня никто, никогда не считал ни глупцом, ни ребенком. Ваша насмешка - первая в моей жизни. Еще пять минут подобного разговора - и я...

- И вы?

- Оставлю вас сию минуту и навсегда!

- Как грозно!

Адуев не мог сносить долее насмешливого тона Елены: он вспыхнул.

- Да! удалюсь, постараюсь забыть эту суетную женщину, пред которой я так долго бесплодно пресмыкался! - с гневом и скороговоркою начал говорить Егор Петрович. - Боже! та ли это, пред которой я благоговел, в чистоту чувств которой так слепо веровал, не считал себя достойным счастья обладать ею?.. И вот она! едва успела сказать "люблю" в первый раз в жизни и уже забывает святость своих обещаний, данное обязательство, собирает дань лести ничтожных волокит!..

- Каких обязательств? разве я ваша невеста?

- Но могу ли требовать вашей руки при этом обращении со мною и с другими, не будучи уверен в вашем чувстве? А своенравие, а капризы - какую будущность готовит мне это?.. Вы молчите?

Елена сложила руки вместе, потупила глаза и склонила голову вперед.

- Я ожидаю ваших приказаний, - сказала

она.

- А! вы решились оскорблять меня! Прощайте, баронесса. - Он взял шляпу.

- Куда ж вы? Разве не хотите пить с нами чай? - насмешливо сказала она. - Маменька и папенька будут рады видеть вас.

Адуев молчал несколько минут.

- Благодарю вас, - сказал он наконец, - вы открыли мне глаза. Я приехал с тем, чтоб объяснить решительно, выведать от вашего сердца, которое давно уже сделалось тайною и загадкою для меня, по-прежнему ли оно принадлежит мне; потребовать отчета в вашем обращении со мной, и если оно происходит от легкомыслия, то хотел просить вашей руки, в надежде, что со временем строгие обязанности супруги изменят ветреный характер... Но теперь, после этого разговора, мне не нужно никаких объяснений; более надеяться мне нечего; вы меня не любите!

- Вы находите, а?

- Смейтесь!.. Но вы увидите, что я не ребенок! Я готовился посвятить вам жизнь, быть вашим мужем, когда видел, что мог составить ваше и свое счастье, когда знал, что взаим-

ность скрепит наш союз; но вести вас к алтарю без любви, холодно, как жертву приличный, по принятому обычаю, - я не могу и увольняю вас от данного слова!

- Как это сильно сказано!

Адуев не обратил внимания на ее слова и продолжал:

- Признаюсь, до сих пор я существовал только любовью к вам и любимую мою мечтою была - ваша любовь. Не думайте, однако ж, чтобы я так же легко вверился опытной женщине: нет! ваша молодость, чувство, которое вы обнаруживали вначале, - всё ручалось мне за чистоту и искренность вашего сердца; кто бы мог подозревать тогда?..

- Что подозревать?

- Столько лукавства, притворства, кокетства...

- Вы забываетесь, monsieur Адуев! - сказала она гордо и с гневом.

- Таковы ли вы были прежде? И теперь, в ту минуту, когда воспоминания о прежнем столпятся в голове моей, - в глазах еще родится слеза умиления. Несмотря на явную холодность, на оскорбления, я бы всё простил вам,

в память прошедшего, если б заметил хоть тень того чувства. Но - повторяю - я не ребенок и знаю, что надежды на счастье нет: оно прошло, как всё проходит своим чередом!..

Адуев задумался. Елена поглядела на часы.

- А помните ли, - начал он опять, - кто породил во мне эту страсть, кто раздул пламя пожара? Как в вас достало столько хитрости? Так молоды, а коварство уже успело закрасться в сердце, которое, казалось, дышало одной искренностью, простосердечием! Когда я воротился из чужих краев, усталый, недовольный ничем, когда утомленная душа моя искала одиночества, - кто приветно улыбнулся мне и озарил будущность блестящими и - как я вижу теперь - несбыточными мечтами? Вы, Елена! вы очаровательною улыбкою вызвали меня на сцену света, на участие в этом вихре жизни, в котором кружились сами. Я кинулся вслед за вами...

Елена зевнула.

- Помните ли, как, просиживая со мною по целым часам вот здесь, на этом самом месте, или на даче в саду, вы забывали свет, не хотели никого видеть, кроме меня? Когда я, томи-

мый нравственным недугом, медленно угасал, не вы ли, как ангел-утешитель, сказали мне: "Живи для любви"?

- Кажется, я не говорила этого.

- Тогда вы - как будто разрешили за меня задачу счастья. Я жадно вслушивался в утешительные слова, впивался взорами в ваши глаза, и в них сиял теплый луч не одного сострадания, а взаимности, нежного участия; вы, кажется, говорили ими: "Люби меня, и тебе откроется целый мир блаженства; я создам тебе счастье и разделю его с тобой". Помните ли вы?

- Ну можно ли помнить такой вздор? Это так давно было! Неужели вы всё еще помните?

- Я закрыл глаза. "Вот где счастье!" - подумал я, бросился за призраком и - очутился в бездне. А как я любил вас!.. как любил!.. Теперь стыжусь признаться в этом самому себе. Это последняя дань сердца, последний отголосок чувства, которое вы уничтожаете так безжалостно!

Елена небрежно играла локоном и, по-видимому, рассматривала висевшую на стене

картину; но если бы кто вникнул в выражение, которое то появлялось, то исчезало в глазах ее, тот - о! тот погрозил бы ей лукаво пальцем и назвал притворщицей.

- Какая непостижимая перемена! - начал опять Адуев. - Холодность, насмешки, капризы... не этим ли вы хотите заставить меня любить жизнь? это ли награда за преданность? А внимательность, даже нежность, вы расточаете Бог знает кому! и для чего? Чтоб об вас говорили невыгодно в толпе негодяев!.. чтоб ваше драгоценное, святое для меня имя произносилось хором повес!.. чтобы поступкам вашим давали двусмысленный толк!.. Может быть, со временем вы вспомните обо мне и так же вздохнете, но только не притворно, не иронически, а прямо из души - даже когда будете замужем. Прощайте, Елена Карловна! я всё сказал.

- Всё?.. Ну, слава Богу! Я думаю, вы устали?

- Унижаться далее не стану. Благодарю судьбу, что остановился вовремя.

Он слегка поклонился ей; она встала и сделала ему грациозный и церемонный кникс.

- О! как свет испортил ваше сердце, до ка-

кой степени заглушил всё доброе! Теперь, в эту горькую для меня минуту, вместо того чтоб подать в утешение руку, кинуть взор хотя простого, дружеского участия взамен блаженства, которое так легкомысленно обещали и которого дать не можете, вы обнаруживаете такое язвительное пренебрежение! Вы не понимаете, какие глубокие раны наносите и без того растерзанному сердцу. В последний раз я в вашем доме!

- Зачем же вы хотите лишить нас вашего приятного общества? Мы принимаем по вторникам и пятницам. Надеюсь, что вы не откажетесь быть в числе наших гостей и...

Адуев не дослушал и, с отчаянием в душе, скорыми шагами вышел из комнаты.

А она? Она еще продолжала перебирать клавиши, прислушиваясь к шуму шагов его, и когда они потерялись в отдалении, она облокотилась на флигель, закрыла обеими руками лицо и зарыдала... Как! эта гордая Елена, эта аристократка, девица-деспот - зарыдала? возможно ли? да не она ли сама, за минуту пред тем, так холодно и равнодушно, даже с насмешкой, отказалась от человека, любившего

ее пламенно, преданного ей глубоко? Прошу, после этого, разгадать сердце! Что же говорило в Елене тогда и что заговорило после? Какой демон отвечал за нее сарказмами на объяснение Адуева? какой ангел заставил ее теперь плакать? Зачем, гордая красавица, не заплакала ты минутою прежде? Знаешь ли, неопытное дитя, что одна твоя слеза прожгла бы насквозь сердце юноши; что он, виновник ее, пал бы, как преступник, к твоим ногам? Одна слеза была бы лучшим проводником чувства, красноречивым оправданием чистоты сердца!.. Но гордость сгубила тебя. Теперь уже поздно: он не видит слез твоих. По его сердцу вместо благоговейного трепета любви к тебе пробежал холод; в душу залегло горе, в голове кипит замысел бежать далеко, скрыть обманутое чувство, истребить его новыми впечатлениями... И подумай! одна бы слеза могла удвоить его привязанность, сделать совершенным рабом... Ну что бы тебе хоть притвориться!.. Но теперь уже поздно.

Впрочем, выключая гордости, которая помешала Елене поступить прямо, чистосердечно, исключая капризов, происходивших от

властолюбия, свойственного хорошенькой девушке, - виновата ли Елена?

Она девушка с душой, образованным умом; сердце ее чисто и благородно; поведение же, вооружавшее против нее Егора Петровича, происходило от особого рода жизни. На ней лежал отпечаток той школы, в которой она довершила светское воспитание, того круга, в котором жила с малолетства. Будучи еще ребенком, она замечала, что - например - ее маменька глядела на своего возлюбленного супруга так, просто, как глядят все люди друг на друга, а на молодых людей как-то иначе, как не всегда глядят: вот уж у ней родилось понятие о взглядах двух родов; видала также, что княгиня Z* говорила с полковником A* при всех и о погоде, и о театре, и даже о маневрах вслух, а когда они сидели поодаль от других, то разговор как-то переменялся, делался живее, лица обоих одушевлялись, голова, с приближением посторонних, понижались: из этого она заключила, что и разговоры бывают двойкие. Когда же она выросла, то стала внимательнее, хотя всё еще глядела просто и говорила одно и то же всем вообще

и каждому порознь. Она видела, например, что у графини Р* ложа всегда битком набита молодыми людьми, а при разъезде те же самые молодые люди чуть не дерутся за то, чтоб вырвать салоп у человека и подать ей; а на бале - на бале и доступу к ней нет! Что бы всё это значило? Долго красавица думала над задачей; наконец одна же из этих графинь, которым она удивлялась, разрешила. "Ты очень мила, - сказала ей однажды блистательная дама, - но не умеешь нравиться. Ты так неприступна! от тебя так и веет холодом! один взгляд твой разгонит толпу самых любезных молодых людей. Посмотри, как интересно глядит на тебя Ладов, как приветливо встречает Сурков; всюду за тобой - суется, толпятся около тебя; а ты краснеешь, как институтка, и кланяешься, как попадья".

"Попадья!.." Ужас!.. Елена ахнула. "О! покой же, графиня! у тебя в ложе будет просторнее!" Не знаю, что дальше говорила ей графиня: только на другой день после урока подле Елены всё вертелся двоюродный ее брат, юнкер какого-то гвардейского полка, а на первом бале после разговора она до край-

ности утомилась: от кавалеров не было отбою... Так и пошло. Одним словом, девушка узнала свои силы, узнала, какими магическими средствами обладает она, и, очертив около себя волшебный круг, начала действовать теми чарами, которыми наделили ее природа и воспитание. Этот волшебный круг был - девическая непорочность, чистота нравственности; а волшебство было для нее не более как только забавою, весьма употребительною в свете. Она не совсем подражала графиням.

Ну а сердце?

Оно долго оставалось холодно и спокойно и забилося только с появлением Адуева, - забилося для него, сильно и часто. Елена охотно уступила действию прекрасного, нового для нее чувства; она месяца на полтора перестала быть светской блистательной девушкой, стала прежнею очаровательною Еленою, явилась со всею простотою неподдельной прелести, погрузилась на время в самое себя, открыла в душе сокровища, которыми была наделена, и, отличив Адуева от толпы поклонников, оценив его ум, благородство души, силу характера и воли, а главное, предузнав по

какому-то женскому инстинкту, какого рода чувство и в какой степени способен он питать, угадав в нем человека, который один только мог сделать ее счастливою, что одного его могла она любить так как любила, потому что он ближе всех подходил к ее идеалу, олицетворения которого напрасно искала она между светскими любезниками, - угадав и рассчитав всё это - заметьте: девушки не только рассчитывают, но и обсчитывают, - итак, рассчитав всё это и полюбив его как нельзя больше, она стала действовать на него уже не теми чарами, какими действовала на прочих, но обнаружила сокровища ума, сердца, души, и покорила. Он вверился пленительной надежде на счастье, увлекся прекрасной идеей будущности и предался совершенно очаровательнице. Уверясь в его чувстве, освятив его взаимностию, а главное, свыкнувшись с мыслию о своем счастье, Елена не сочла грехом обратиться к прежним привычкам, которые у нее нисколько не мешали любви и от которых ей бы и трудно было отстать, потому что тогда от нее отстали бы все светские мотыльки, а это повредило бы, в гла-

зах света, репутации ее любезности и, может быть, - таков человек! - породило бы предубеждение насчет ее красоты, уронило бы в глазах соперниц, вырвало бы пальму первенства в свете, и... мало ли что еще могло бы случиться! Посмотрите, и так сколько зол, сколько горьких следствий произвело бы это: как же можно быть ей прекрасною в глазах только одного человека? Никак нельзя! Она права: ссылаюсь на суд моих читательниц.

Стало быть, виноват Егор Петрович? Нет, и его винить нельзя. Он родился под другой звездой, которая рано оторвала его от света и указала путь в другую область, хотя он и принадлежал по рождению к тому же кругу. Добрые и умные родители, заботясь одинаково как о существенных, так и о нравственных его пользах, дали ему отличное воспитание и, по окончании им университетского курса, отправили в чужие края, а сами умерли. Молодой человек, путешествуя с пользой для ума и сердца, нагляделся на людей, посмотрел на жизнь во всем ее просторе, со всех сторон, видел свет в широкой рамке Европы, испытал много; но опыт принес ему горькие плоды

недоверчивость к людям и иронический взгляд на жизнь. Он перестал надеяться на счастье, не ожидал ни одной радости и равнодушно переходил поле, отмежеванное ему судьбою. У него было нечто вроде "горя от ума". Другой, на его месте и с его средствами, блаженствовал бы - жил бы спокойно, сладко ел, много спал, гулял бы по Невскому проспекту и читал "Библиотеку для чтения"; но его - его тяготило мертвое спокойствие, без тревог и бурь, потрясающих душу. Такое состояние он называл сном, прозябанием, а не жизнью. Эдакой чудак!

Когда предстала ему Елена, он, в свою очередь, также оценил ее и понял, сколько счастья заключалось в обладании ею, - счастья, которого, может быть, достало бы ему на всю жизнь. Он вышел из усыпления, вызвал жизнь из глубины души, облекся в свои достоинства и пошел на бой с сердцем девушки. Оно уступило; он достиг цели, наслаждался, гордился, не заметив господствующей слабости, потому что Елена, как мы видели выше, на время покинула ее.

Составив себе строгую идею о ней, с трепе-

том любви преклоняясь пред ее достоинствами, он пророчил себе чистое блаженство в будущем, радовался, что есть чувство в груди его, которое может помирить его с жизнью, что есть посредница между им и светом, что есть состояние, которое он может назвать счастьем. "Вот и я начинаю жить!" - думал он, и вдруг... А он воображал ее так чистою, чуждою суетности; возвышаясь понятиями и благородством души над толпою молодых людей, он сам никогда не расточал лести перед женщинами, не ловил их минутной внимательности, был слишком опытен, чтобы поддаваться обману, и не льстился теми наградами, за которыми жадно гонялись прочие.

Бегая от... язык не поворачивается выговорить!.. от кокеток, - надобно же наконец назвать их своим именем, - он составил себе строгое понятие о той женщине, которую готовился назвать своею, - понятие, может быть, несколько устарелое, романическое, отзывающееся варварством. Любя сильно, страстно, он думал, что женщина должна совершенно посвятить себя одному ему, так, как он посвящал себя ей; не расточать знаков

внимательности и нежности другим, а принести их, как драгоценные дары, в сокровищницу любви; не знать удовольствия, которое не относилось бы к нему, считать его горем своим и проч. Виноват ли он, что, при этих понятиях, ему не нравилось поведение Елены? "Суций варвар!" - скажут читательницы. Но я ссылаюсь на суд читателей.

Кто же виноват? По-моему, никто. Если б судьба их зависела от меня, я бы разлучил их навсегда и здесь кончил бы свой рассказ. Но посмотрим, что будет далее.

Они расстались, - может быть, и в самом деле навсегда. Гордость не позволила Елене обнаружить настоящего чувства. Теперь она проливает слезы и, вероятно, решилась бы на жертвование в пользу любви, лишь бы возвратился он, который был целью ее жизни, ее счастьем. Она тогда только узнала всю цену ему и то, как она его любит; но он не воротится: в нем также проснулось ужасное чувство, убивающее любовь, - гордость, спесь мужчины, долго томившегося страстью и отвергнутого. Он сбросил цепи бесполезного рабства, гордо поднял голову и запел песнь свободы...

Бедная Елена! Но полно, так ли? А вот увидим.

Сумерки уже кончились. Все комнаты освещены; люди засуетились; в кабинете барона послышался говор; старики потребовали зельцерской воды и возобновили беседу, прерванную сном; в комнате супруги барона раздался звон колокольчика; всё пришло в движение - настал вечер, а Елена всё еще неподвижно сидела на том же месте, повесив голову. Хотя она не плакала более, но место слез заступила бледность, в глазах изображалось чуть-чуть не отчаяние. То не была уже светская, гордая девушка, царица зал, повелительница толпы поклонников, всегда спокойная, всегда величавая, с надменностью во взоре, с улыбкою торжества. Нет! с нее спала мишура; горе сравняло ее со всеми, и никто, увидев ее в этом положении, не сказал бы, что это блистательная девушка высшего круга: всякий сказал бы, что это просто несчастная девушка.

Мне скажут, что ее горе есть горе мечтательное, не заслуживающее сострадания; что причина так ничтожна... По-моему, какая бы

ни была причина горя, но если человек страдает, то он и несчастлив. От расстройства ли нерв страдает он, от воображения ли или от какой-нибудь существенной потери всё равно. Для измерения несчастья нет общего масштаба: о злополучии должно судить в отношении к тому человеку, над которым оно совершилось, а не в отношении ко всем вообще; должно поставить себя в круг его обстоятельств, вникнуть в его характер и отношения.

Да! Елена была несчастлива, и к тому же горе ее не есть мечтательное горе. Любовь Елены к Адуеву не была просто вспышка: она также любила его глубоко, от всей души, в первый и - может быть - в последний раз. Умом и душою она была выше своей настоящей сферы. Отпраздновав днем на празднике суеты, удовлетворив самолюбие и собрав обильную дань поклонения своей красоте и любезности, - о чем мечтала она вечером, оставаясь одна? Всё о счастье быть любимой, о будущей своей жизни, которую расположилась провести с Адуевым. Свет не наполнял пустоты ее сердца; суетность ошибкой втес-

нилась в душу; она сама нетерпеливо ждала, когда кончится период девичества и настанет эпоха супружества, эпоха, с которой она будет принадлежать одному человеку. И вдруг все надежды исчезли! он не любит ее более, потерял уважение к ней... Какое мучение! Будущее, с удалением молодого человека, закрылось бесцветной пеленой; она осталась одна навсегда. Лишась предмета, избранного сердцем, она должна отдать теперь участь свою в распоряжение случая. Бог знает, кто будет ее мужем; может быть, она сделается жертвою дипломатических расчетов своего отца... О! как в эту минуту опротивел ей свет с своими любезниками!

...Да, она истинно несчастлива! - Она не слышала, как отворилась дверь, как вошла рыжая англичанка, и тогда только узнала об ее присутствии, когда та пролаяла по-своему, что парикмахер ждет ее в уборной и что маменька приказала напомнить о бале.

- Бал!... Боже, этого только недоставало! Я не поеду на бал, - сказала она также по-английски, - слышите ли? скажите маменьке, парикмахеру, скажите целому свету! я не хо-

чу, не могу. - Елена говорила это с выражением совершенного отчаяния, и если бы была мужчиною, то непременно прибавила бы: "God dam!"¹

Однако не ехать на бал нельзя; или ей надобно притвориться больной недели на две, а то - что скажет свет? И она, как жертва, со вздохом повлеклась с своей компаньонкой в уборную.

Чудо-уборная! Какая роскошь! сколько вкуса! Я видал все эти вещи и прежде в магазинах Гамбса, Юнкера, Плинке; но там они не производили на меня такого впечатления, как здесь. Отчего же это? Оттого, что здесь каждая из них гармонически отвечает целому, что здесь они в храме богини; на них лежит печать ее присутствия; они как будто живут своею особенною жизнью. Ну что, например, занимательного в этом бронзовом подсвечнике с транспарантом, если помотришь на него в магазине? но когда увидишь в нем остаток свечи, подле развернутую книгу и оставленный платок с шифром красавицы; если вообразишь, как она сидит за этой книгою и читает, - то какую магическую прелесть

получит и подсвечник, и платок, и даже самая книга, - будь она хоть "Сочинения" Фиглярина! (которых, впрочем, Елена никогда не читала: Боже ее сохрани!). Ну что особенного в этом туалете? Стол с зеркалом больше ничего! Но вот на нем лежит ее перчатка, вывороченная наизнанку, крошечная и пахнет амброй. Воображение никак не хочет приписать этого запаха французским духам, а непременно ручке, которая носит ее. Диван прекрасная мебель, и всё тут! Но красавица переменила на нем башмаки, и один миниатюрный башмачок забыт горничною. Как небрежно свесились ленточки! - так и тянет к нему! Оглядываешься, нет ли кого - особенно Адуева; хватаешь сокровище и целуешь: нельзя утерпеть!

Теперь Елена сидит в креслах перед трюмом и едва понимает, что происходит около нее; а около нее хлопочут парикмахер и три горничные. Как хороша Елена теперь! Она так гораздо лучше, нежели на каком-нибудь рауте. Там она вооружается особыми приемами, особыми взглядами, особою речью; а теперь горе убрало ее по-своему, но как хорошо! Зачем она не понимает, что она гораздо лучше,

когда ею управляет какое-нибудь сильное непритворное чувство? Она небрежно сидит и даже, против обыкновения, не смотрит в зеркало; черные, всегда живые, блестящие, молниеносные глаза подернулись туманом грустной задумчивости; в них дрожит слеза; на щеках румянец спорит с бледностью, то выступая, то пропадая опять; уста полуоткрыты; голова склонилась к левому плечу. Она не почувствовала, как куафер отнял с одной стороны шпильки и как волосы роскошных кудрей прянули на щеку и, играя, вдруг рассыпались кругом по плечу; не заметила, как горничные, примеривая бальную обувь, сняли башмачок с ножки, подложили под нее бархатную подушку, на которой так резко оттенялась эта чудная, восхитительная ножка.

Я постигаю теперь, отчего между парикмахерами нет ни одного угрюмого, задумчивого человека, отчего они веселы и болтливы: иначе и быть не может. Каким бы холодным ни создала природа куафера, но одно уже прикосновение к голове красавицы должно действовать на него магнетически. Изящное действует на самые грубые души, особенно же, я

думаю, изящное в виде Елениной головы. Как он деспотически распоряжается прекрасною головкою Елены! то наклоняет, то поднимает ее, поворачивает то в одну, то в другую сторону, как будто рассматривает с видом знатока. Как свободно святотатственные взоры гуляют от маковки к затылку и обратно! Он то нагнется к ней, будто подышать ее атмосферу, то откинется назад, будто полюбоваться издали, как художник любит свое произведение; вот, вот захватил одною рукою целую прядь волос, а другою... Сколько прелестей открывается с каждым движением! Нет, терпения недостает! Напрасно глядишь на распятие из слоновой кости, стоящее на столике; напрасно силишься благочестивыми размышлениями заглушить волнение: не помогает! В голове жар, в глазах мутно; кровь то прильет, то отхлынет от сердца... Отвращаешь взоры - и видишь... новое искушение! на диване раскинулось в пленительном беспорядке роскошное газовое платье, готовое заключить красавицу, обнять, стиснуть ее стройный стан, пышные формы... платье до того легкое, воздушное, эфирное, что если бы

мы с вами, почтеннейший читатель, вдвоем дунули на него, то оно перелетело бы на другое место.

Нет! больше никогда не пойду в такие места. Лучше посмотреть, что делает Егор Петрович.

Он уж не так бойко спустился с лестницы, как взошел на нее; останавливался на каждой ступеньке, как будто о чем-то размышляя; ноги его подкашивались, точно как, по выражению Гюго, на каждой ноге у него было по две коленки.

Покидая порог дома, в котором он был так жестоко оскорблен и в который не имел намерения возвращаться, ему бы следовало отрясти прах от ног своих; но он, вероятно, забыл сделать это и тихо побрел по тротуару, а кучеру велел ехать вслед за собой. Какая разница между приездом и отъездом! За час он летел еще с надеждой обладать Еленой, с правом на ее сердце и руку; теперь она не существовала для него более. Он шел тихо, как ходят все несчастные, склонив голову на грудь, потупив взоры в землю; не слышал и не чувствовал ничего. Так он добрел домой. Если бы

слуга не догадался снять с него почти насильно шинели, то он в ней вошел бы в залу; но он вошел только в шляпе, сел на такое место, на которое никогда не садился прежде, и тихо, про себя, начал говорить следующее: "Вот жизнь! За час, я еще назывался счастливым, а теперь!.. Глупец! ребенок! к чему послужила мне опытность? положился на счастье!.. Что пользы, что я узнал жизнь вдоль и поперек, что испытал сам и видел, как другие спотыкаются на каждом шагу и все-таки делаются жертвой нового обмана? Знал и - попался!.. Стыд!.. Но кто ж бы устоял против обольщения? Жизнь моя и так не красна; и так я долго крепился: а ведь я человек!.. Как больно обмануться в последней надежде! как грустно отказать от лучшей мечты!.."

Он погрузился в задумчивость; потом встал и скорыми шагами начал ходить по комнате.

"Что начать?.. Куда я денусь с своей тоской?.." - Он задумался. Наконец вдруг глаза его приняли совершенно другое выражение: они заблестали гневом; губы судорожно сжались. "Нет! - воскликнул он, - я не поддамся

горю, не стану томиться под бременем тоски! нет! клянусь честью, нет! У меня достанет твердости отказаться от несбыточной мечты, забыть ее... Я найду чем рассеяться. Чтение, множество покинутых занятий; не поможет пущусь странствовать по свету: опять в Германию, на жатву новых знаний, под благословенное небо Италии, Греции. Говорят, путешествие всего спасительнее для сумасшедших этого рода. Да мало ли занятий! Вот, например, я целый месяц не видал в глаза своего управителя и не знаю, что делается в моих деревнях; а от меня зависит судьба трех тысяч человек, от них мое благосостояние. Нечего медлить! сейчас же и займусь. О! я возвращу утраченное спокойствие; недаром я мужчина!"

- Эй! - закричал он. Явился человек. - Позвать управителя ко мне в кабинет!

Через пять минут в кабинет вошел, с кипой бумаг, управляющий Егора Петровича, низенький старик, чрезвычайно плешивый, в гороховом сюртуке. Он низко поклонился и стал у порога.

- Давно мы не видались с тобой, Яков! Что

ты нынче не ходишь ко мне с делами?

- Я хожу, батюшка Егор Петрович, каждый день, как и прежде, да мне всё говорят, что вы изволите уезжать к барону Карлу Осиповичу.

- Сегодня это в последний раз сказали тебе. Начиная с нынешнего дня, докладывай мне обо всем, показывай каждую бумагу. Я сам хочу всё видеть и знать.

- Слушаю-с, - сказал старик и низко поклонился.

- Что же у тебя есть?

- Да вот, сударь, архитектор из воронежской вотчины пишет, чтобы изволили назначить срок, когда дом в Ельцах должен поспеть: еще осталось довольно работы, а весна близко. Да садовник просит выписать семян для цветника, что вы приказали разбить; реестр прислал, да не по-нашему писано.

- Врут они оба! - с сердцем прервал Адуев, - ничего не нужно. Оставить стройку и отпустить архитектора; в саду тоже никаких затей не нужно. Я не поеду туда.

- Слушаю-с, - и старик низко поклонился.

Недаром рассердился Адуев: все частные планы, о переделке деревенского дома и о пе-

ременах в саду, входили в один общий план его женитьбы. Он уже мысленно нарек Елену своею и, составив теорию будущего счастья, начал практически приводить ее в исполнение. Воронежскую свою деревню, имевшую прекрасное местоположение, назначил он будущим жилищем и тамошний старый, мрачный, некрасивый дедовский дом задумал преобразить в светлый храм любви, там он предположил свой Эльдorado. Он изучил вкус Елены до мельчайших подробностей, искусно выведал будущие ее желания и, соединив их с своими, начал делать, сообразно этому, перемены в деревенском доме и саду: пригласил архитектора и выслал из Петербурга планы для переделки дома, садовнику тоже надавал множество приказаний. Он уже помышлял о покупке мебели и разных вещей для украшения дома, уже мысленно распределил занятия в деревне, расположил свой будущий семейный быт, заботился о дополнении библиотеки любимыми авторами Елены; часто задумывался о том, как введет милую хозяйку в дедовский уют и начнет новую эпоху жизни. Хозяин, благодетель своих поддан-

ных, муж, обладатель прелестной женщины, и потом вероятно, отец... какая будущность! И вдруг - кто бы мог подумать?.. Демон бешенства овладел им, когда управитель напомнил ему о планах, которые превратились теперь в воздушные замки и никуда не годились.

Он начал опять ходить по комнате.

- Что у тебя еще есть? - сердито спросил он.

- Староста ярославской вотчины пишет, - с трепетом начал Яков, - не будет ли вашей милости помочь как-нибудь двум парням; им пришел черед в рекрутчину; у одного-то осенью отец ногу порубил, сидит на печи поклавши руки, а он с сыном только и работали на всю семью; остались бабы да малолетки - хоть по миру идти; другой сосватал было невесту, сироту, девка работающая, клад для семьи. Такие горемыки, пишет староста, что сердце ноет, глядя на них.

Адуев нахмурился.

- Что?.. невесту?.. Я ему дам невесту! Сумасшедший, вздумал жениться! Вздор! обоих в солдаты, а девку на фабрику; если староста еще будет писать, так и его туда же! Я не люблю шутить! слышишь, ты?

- Слышу, батюшка Егор Петрович; завтра приготовлю ответ.

- Дальше!

- Из курской деревни мужички челобитье прислали, крепко жалуются на неурожай, просят, не отсрочите ли недоимки еще на годок: больно худо пришло.

- Вздор! чтобы нынешний же год всё до копейки было взыскано, а не то... понимаешь?

- Ваша барская воля, сударь. Завтра напишу, - отвечал старик и низко поклонился

- Всё ли?

- Всё, сударь.

- Ну ступай же; да смотри, докладывай мне обо всем самому.

Управитель вышел из кабинета в переднюю, где ожидал его другой старик, Елисей, дядька и камердинер Адуева.

- Что, батюшка Яков Тихоныч, подеялось с Егором Петровичем? Поведай. Ума не приложу: никогда я не видывал его таким.

Яков махнул рукой и рассказал, что произошло между ними - как барин принял челобитную мужиков, как отвечал на просьбу рекрут. "Видно, в покойника барина пошел! -

так заключил Яков свой рассказ, - человек, подумаешь!"

- Что ты говоришь, Яков Тихоныч!

- Ей-Богу, право.

Старики попотчевали друг друга табаком и разошлись. Между тем Адуев ходил в сильном волнении по комнате.

- Ну вот, я теперь и спокоен! - говорил он, судорожно отрывая одной рукой пуговицу у сюртука, а другой царапая чуть не до крови ухо, совершенно спокоен! Одно дело кончил; теперь займусь другим... О! я забуду ее!..

В это самое время лукавый напомнил ему про доклад управителя о перестройке деревенского дома; воображение начало развивать картину утраченного блаженства; он представил себе поэтический приют - дом, чудо удобства, вкуса и роскоши, прелестный сад, где искусство спорило с природой; о том, как бы они вдвоем с Еленой заперлись там от глупых соседей, от целого мира; там он с волшебным зеркалом лежал бы у ног своей Армиды.

...И всё погибло! Великолепное здание мечтаний рушилось! - Он совсем оторвал пугови-

цу и до крови расцарапал ухо.

- Нет! это низость, малодушие! - вскричал он, - прочь, лукавые мысли! прочь, обольстительные мечты! полно вам тешить меня! я вытесню вас из памяти, запишусь под знамена какого-нибудь развратного корифея буйных шалунов, пристану к их хору и среди оргий истреблю память о ней, буйным криком перекричу голос сердца... Завтра же начну новую жизнь!

Он схватил перо, лист бумаги и начал писать. Через пять минут он кликнул Елисея.

- Завтра у меня будут обедать эти двадцать человек, которые здесь записаны. Разошли к ним людей с приглашениями, а на тебя возлагаю заботы о столе. Смотри же! роскошный обед, шампанского вдоволь, да были бы карты!..

- Помилуйте, сударь, ведь уж ночь: когда успеешь?

- Успей когда хочешь! - закричал Егор Петрович, - я ничего знать не хочу! чтоб было! Старый черт, умничать стал - вон!

Старик сначала с удивлением, потом с грустью посмотрел на Адуева.

"Старый черт! - шептал он, покачивая головой, - какво махнул? отродясь не слыхивал себе такого счастья! Чего я дождался от вас, Егор Петрович, дожив до седых волос! Вынянчил вас, тридцать лет служил вашему батюшке, под туретчину с ним ходил, а и от него не слыхивал такого нехорошего слова".

Адуев молча показал ему рукою на дверь. Старик отер ладонью слезу, поднял с пола реестр, написанный

Адуевым, и тихо, печально, с поникшей головой побрел вон.

"Боже! - воскликнул Адуев с тоской, - куда завлекла меня страсть? что я делаю? - я потерял рассудок..." - Он закрыл лицо платком и зарыдал глухо, без слез. Его страшно было слушать: он был жалок и ужасен. Ему стало душно, жарко, несносно; он с трудом переводил дыхание; признаки душевной бури и физического недуга уже легли на лицо, которое, еще за два часа пред тем свежее, прекрасное и цветущее, теперь совсем изменилось: глаза потеряли блеск, будто после продолжительной болезни, щеки опустились, все черты были искажены, волосы в беспорядке. Наконец

мало-помалу бешеная тоска впала в тихую грусть; он наружно стал спокойнее. Одной рукой облокотясь на стол, другой он машинально вертел лежавший на столе какой-то билет; наконец, бросив на него случайно взгляд, он прочел: "Билет для входа на бал в Коммерческом клубе".

- Откуда взялся этот билет? - спросил он, кликнув слугу.

- Какой-то барин завез и приказал сказать, что надеется вас непременно видеть на бале.

"А! Сама судьба посылает мне средства к развлечению! Пойду, куда она влечет меня; может быть, неожиданно буду счастлив".

- Давай же одеваться! - сказал он слуге, - и вели закладывать карету.

- Знаешь ли, где Коммерческий клуб? - спросил он кучера.

- Никак нет-с.

- Где-то на Английской набережной; надо спросить.

- А! знаю-с!

- Ну так пошел туда!

Все бытописатели, когда приходилось писать о бале, не забывали никогда упоминать

о самом ничтожном и само собою разумеющемся обстоятельстве, что подъезд и окна бьют ярко освещены, а улица перед домом заперта экипажами. Да разве может обойтись без того один съезд порядочных людей? Конечно, описать эти мелочи, как описал Пушкин в "Онегине", другое дело! Туда мы и отсылаем любопытных по этой части и упоминать более об этом не станем, потому что не намерены изображать картины бала, который нам нужен только для одного обстоятельства, имевшего большое влияние на судьбу Егора Петровича.

Адуев вошел в сени, сунул билет свой в руки богато одетого швейцара и с удивлением стал подниматься на лестницу, которую облепил дорогой ковер, сделавший бы честь не одному кабинету; по бокам тянулся ряд поморанцевых и лимонных деревьев; она упиралась в двери с золотой резьбой, с хрустальными стеклами. В передней толпились официанты, одетые в бархат, облитые золотом. Одним словом, всё было так, как бы пристало какому-нибудь аристократическому балу.

"На публичном бале - и такая роскошь! -

подумал Адуев, - странно!"

Двери отворились, и ему представилась анфилада ярко освещенных комнат. Остановившись на минуту в дверях залы, он через лорнет вперил взоры в толпу и с удивлением увидел, что тут собралась вся петербургская аристократия, "сливки общества". Перед глазами у него беспрестанно мелькали звезды, ленты, все существующие на свете мундиры, потому что тут находились представители всех держав. Тут были и те молодые люди, которые наружными качествами отличились бы всюду, даже на Страшном суде, когда вся толпа человечества предстанет вместе. Тон, приемы, костюм, доведенные до высшей степени изящности и совершенства, простоты и естественности, под которые нельзя подделаться, обличали в них первоклассных денди, людей, на которых воспитание чуть ли не сама природа набрасывает особый оттенок.

"Эти как попали сюда? - подумал Адуев, - я никогда не слыхивал от них ни слова о Коммерческом клубе". - И отошедши к зеркалу, он бросил испытующий взор на свой костюм, потом вошел в залу.

Недалеко от дверей стоял старик почтенной наружности в иностранном мундире. Он раскланялся с Адуевым и сказал ему какое-то приветствие.

"Здесь собрано всё, чтоб сделать этот бал непохожим на публичный, подумал Егор Петрович, - какой-то старик встречает меня, как будто хозяин! Верно, бывает у барона и видал меня".

Он вежливо отвечал на поклон и отправился далее.

Наконец, добравшись до того места, где совершалась первая часть бала танцы, он остановился. Там собрались блистательные дамы, от которых Адуев по возможности бегал, которые зимой, по вечерам, живую гирляндой обвивают бельэтаж Михайловского театра, а по утрам Невский проспект, которые летом украшают балконы каменноостровских дач. Они, как звезды первой величины петербургского общества, разливали вокруг себя радужный свет. Какая утонченная изысканность! сколько изящества и вкуса в нарядах! На Адуева так и повеяло холодом приличий, так и обдало той атмосферой, в которой бывает тес-

но, несвободно дышать мыслящему человеку. Он внутренне проклял Бронского, который привез ему билет. "Повеса! - ворчал он, - и не предупредил меня! Верно, хотел сделать сюрприз. Признаюсь, ему удалось как нельзя лучше. Да где же он сам! отчего по ею пору не едет?"

В это время одно из блистательнейших светил, протекая мимо его, остановилось.

- И вы здесь, monsieur Адуев? - сказала оно, - редкое явление - вы такой нелюдим! Через кого вы здесь?

- Через Бронского, княгиня.

- А я думала, через барона, - сказала она и потекла далее, влача за собой маленькую, коротенькую княжну, как корабль влачит лодочку.

"Да, как не так! - подумал Егор Петрович, пробираясь далее, - поедет барон в Коммерческий клуб, несмотря даже, что и ваше сиятельство здесь! Впрочем, все его товарищи по службе и по висту приехали же сюда; стало быть, и он мог бы приехать".

- Ah! bonjour, cher George!2 - вскричал молоденький гвардейский офицер, схватив его

за руку, - как ты попал? Ну, очень рад, что ты одумался и наконец разрешил показаться в свет. А ведь прежде ты терпеть не мог. Не правда ли, что здесь очень мило? magnifique, n'est ce pas?3 Пойдем, я познакомлю тебя с Раутовым, Световым, Баловым. Премилые ребята! они заочно любят тебя и бранят давно, что ты прячешься от людей. С твоими достоинствами, надо идти вперед. Пойдем!.. Да! кстати! будешь ли в пятницу у австрийского посла?

- У австрийского посла! В уме ли ты? Будто это одно и то же!

- Да, почти, mon cher; все те же лица будут там; разве императорская фамилия...

- Полно вздор говорить! Лучше скажи, будешь ли завтра у меня обедать? Я послал к тебе приглашение.

- Что у тебя? сюрприз готовишь? уж не наследство ли получил? Да стой! ты что-то бледен, расстроен... Ну так и есть! бьюсь об заклад, что наследство; ты из приличия делаешь кислую мину... В таком случае не следовало бы приезжать; а то - что скажут в свете? - серьезно шепнул он ему на ухо и бросил-

ся навстречу входящей даме с девицей; а Адуев пошел далее, беспрестанно сталкиваясь по пути с знакомыми и с неизбежными вопросами: "Ах, и ты здесь? - Каким образом вы попали сюда? - Ба! вот сюрприз! браво! - И вы в свете?"

Наконец это надоело ему, и он вышел из залы в следующие комнаты, частью пустые, частью наполненные играющими в карты. "Всё это слишком богато для публичного бала, - думал он, - куда ни обернешься, везде мрамор, бронза. Какая мебель! точно как будто еще вчера здесь жил какой-нибудь вельможа: расположение и уборка комнат ясно показывают это. Вот и картинная галерея!" - И направляя лорнет на картины, он ахнул: тут были произведения итальянской кисти всех школ, почти всех знаменитых художников, в оригиналах. "Что это значит?" - воскликнул он. Между прочим, тут были портреты государя и государыни, превосходной работы, и подле них портрет какого-то генерала в иностранном мундире. Он искал взорами знакомых, чтобы спросить, чей он; но знакомых тут не случилось, и он стал рассматривать

группы изваяний. Опытный взор его тотчас увидел превосходный резец. Тут также были бюсты государя императора и государыни императрицы, поставленные на возвышении; а с противоположной стороны, на таком же возвышении, стоял бюст того же генерала.

- Чей это бюст? - спросил он мимо проходившего знакомого англичанина.

- Неаполитанского короля, - отвечал тот и исчез в толпе.

"Что за влечение Коммерческого клуба к неаполитанскому королю? уж скорей бы к английскому: по крайней мере, торговая нация. Странно!" - А! воскликнул он почти вслух, - понимаю! верно, клуб нанимает дом, и хозяин оставил всё в своем виде... Ну, теперь понимаю!

Между тем отдаленные звуки музыки, доносившиеся из залы, привлекали, а толпа, суетившаяся около него, увлекала его туда. В дверях ему попался тот же старик и опять обратился к нему с учтивым вопросом, отчего он не танцует.

- Покорно благодарю; я никогда не танцую, - отвечал он сухо.

"Что он пристаёт ко мне? - бормотал Егор Петрович, отходя прочь, верно, я понравился ему. Да нет, вон он и за другими ухаживает. Так... добрый человек. Ведь есть такие старики, что ко всякому лезут. Чудак должен быть; уж не помешанный ли? в публичных местах иногда являются такие. Надо спросить, кто это такой".

Но тут опять не было знакомых, а между тем кончился контрданс, и Адуев, прислонясь спиной к мраморной колонне, случайно переносил задумчивые взоры на все предметы, без выражения, без смысла. Тоска глубже впиалась в его сердце, червь отчаяния сильнее шевелился в груди среди чада великолепного бала; молодой человек сильнее чувствовал свое одиночество, потому что душа его была слишком чужда беспечного ликования, бессмысленной радости без всякой цели; обаяние бала поглотило всех: только его не коснулось очарование; он был похож на зрителя, который постигает фокусы шарлатана и не разделяет удивления с толпой. "Бал! бал! - думал Адуев, - и это может занимать людей целую неделю! Если б их ожидало что-нибудь

новое, невиданное, неслыханное, тогда ждать бала - было бы только любопытство, собственное человеку. Но за неделю взвесить сумму наслаждений, рассчитать каждое мгновение этого события, тысячу раз повторенного и столько же раз имеющего повториться, и все-таки ждать - это просто ничтожество!" Адуев не понимал радости, суеты молодых людей и был прав, так точно как они не поняли бы его тоски, если б знали о ней, захохотали бы над его горем и тоже были бы правы.

Но посмотрите, что с ним сделалось! Взоры его, блуждая до сих пор рассеянно, вдруг сделались неподвижны, - с жадностью, с изумлением устремились на один предмет. Он остолбенел, дыхание у него замерло... Какой же предмет, кажется, мог бы увлечь всё его внимание, взволновать? и где же? на бале! Одна только Елена действовала на него таким образом. А разве я говорю, что и теперь не она подействовала на него? Именно она, бледная, печальная, сидела подле этрусской вазы, едва отвечая на любезности трех денди.

"Елена!.. Что это значит? в Коммерческом

клубе? зачем? И так грустно... Боже, она несчастлива!" Вот вопросы, молнией мелькнувшие в голове Егора Петровича, а в сердце раздался вопль проснувшейся страсти, голос участия заговорил сильнее, нежели прежде, потому что он не видал ее несчастною.

Он видит, что три любезника отпорхнули от нее, не узнав в ней обыкновенной Елены, всегда приветливой, всегда любезной, и повлеклись за графинею Z*, как хвост за кометой. Она одна; глаза ее не горят по-прежнему торжеством победы и самоуверенности; из них готова капнуть слеза; она с отвращением смотрит на толпу; ей досадна, противна суетность; не то ей нужно теперь: ей нужны объятия и утешительные слова дружбы, горячее сердце матери, которому бы она поверила тоску. Но где мать? Она сидит среди блистательных старух и так же занята балом, так же не понимает ее горя, как другие, а подруги носятся в бальном чаду, от которого очнутся, может быть, только на третий день после бала.

Где же взор участия? Одно только и было существо, которое понимало ее, которого сердце билось для нее одной - и какое сердце!

Теперь оно, это единственное сердце, оскорблено ею же. О, как несносно!.. Она машинально обратила глаза на толпу, задумчиво глядела на всё окружающее; наконец смотр толпе кончен; она подняла взоры вверх, как будто считая колонны; вот дошла до последней: больше не на что смотреть... Ба! что это такое? С нею то же сделалось, что прежде с Егором Петровичем. Отчего эти грустные, задумчивые взоры вдруг сверкнули опять молнией? отчего слезы внезапно выкатились и стали, как два алмаза, на ресницах? Она чуть не вскрикнула; приличие едва заглушило радостный вопль. Что это значит?.. А это значит то, что она увидела Адуева.

Мысль, что он не разлюбил ее, что, забыв принятые им правила, победив отвращение к шумным сборищам света, к этим шабашам, приехал сюда видеть ее, искать примирения, с надеждой возвратить утраченное, - мысль эта вдруг облила лицо ее светом радости, какой она никогда не чувствовала, торжествуя свои победы. Вот отчего показались слезы; вот отчего она забыла и свет, и толпу, и приличия и устремила страстный, умоляющий

взор на молодого человека.

Он видел и понял всё. Нужно ли ему еще доказательств, что он любим? Бледность, печаль, отважный, по его мнению, поступок - приезд в клуб говорили слишком красноречиво, а взор довершил только победу, победу самую блистательную, не над сахарным сердцем паркетного мотылька, но над сердцем, оскорбленным ею. Торжествуй, красавица!

"Нарочно для меня приехала сюда! - в восторге думал также Егор Петрович. - И как она узнала? Вероятно, посылала осведомиться у людей. Так печальна!... О! она любит меня; нет сомнения!" Он подошел к ней с выражением полного счастья на лице.

- Я виновата, George! - сказала она тихо, - кругом виновата! Простите меня; забудьте, что я говорила и делала; не верьте словам моим: они были внушены досадой и оскорбленным самолюбием. Я люблю вас, как никого не любила до сих пор, но сама не знала о том. Я еще никогда не лишалась любимого предмета, не испытала разлуки. Простите меня! Мучительно оскорбить человека и вдобавок человека, которого любишь, и страдать без про-

щения, ежеминутно сознавая вину... О! если вы простите меня, как я буду уметь любить вас, беречь свое счастье, которое разрушила по легкомыслию! Вы дали мне урок, научили уважать себя...

Елена отвернулась в сторону, чтобы скрыть слезы, которые появились во множестве и готовы были брызнуть без церемонии, как у всякой женщины в подобном случае. Она говорила скоро, прерывистым голосом. Не понимая ни своего, ни чужого сердца, она то боялась, то надеялась и не смела угадать ответ. Она была просто женщина, но женщина-ребенок: настоящая женщина поступила бы иначе на ее месте, хотя следствия были бы одни и те же. На всё надобно сноровку, Елена Карловна. Вы еще молоды, сударыня! спросили бы опять у графини: та бы научила вас.

Адуев побледнел: он едва перенес горе; но неожиданный переход, оглушающий удар счастья был не по силам ему.

- Ни слова более!.. Пощадите меня, Елена! я не перенесу, мне дурно... силы покидают меня!

И, сказав это, он тихо опустился подле нее

на стул. Елена теперь только угадала ответ и хотела бросить взор на небо, но он встретил потолок, расписанный альфреско, - небо для бала очень хорошее, особенно для тех, которые там были: они бы не желали и сами лучшего - с целым миром мифологических богов. Между ними Амур, казалось, улыбнулся ей и будто хотел опустить из рук миртовый венок на ее голову в знак торжества своего могущества.

Счастливец Адуев! В каком упоительном состоянии он теперь! чувство восторга втеснилось в грудь его и мешает ему говорить, думать, даже дышать. Он сидит неподвижен, бледен, еще не может мысленно измерить своего блаженства... мысли цепенеют в голове и сливаются в одну необъятную отрадную идею: "Она любит!" Язык его онемел. Опять досадный, помешанный старик подошел с вопросом, не дурно ли ему, не нужно ли ему воздуха, fleurs d'orange, des sels...4

- Нет-с, мне теперь ничего не нужно! - сказал он, собравшись с силами. - Елена, - шепнул он ей, - этой минутой вы выкупили бы кровную обиду. Я, я один виноват во всем; я

опытнее вас, должен бы был поступить иначе, а не горячиться, как семнадцатилетний мальчик. Теперь обращайтесь со мной вдвое холоднее, будьте вдесятеро капризней, причудливей: я всё снесу! - Он встал.

- Куда вы?

- К барону, просить вашей руки.

- Теперь?.. Возможно ли! на нас и так обратили внимание.

- Уговорите, по крайней мере, вашу маменьку ехать поскорее домой.

Барона насилу оттащили от виста, а баронессу от старух. Адуев посадил их в карету и у их крыльца высадил опять и вошел к ним.

- Отдайте мне Елену, барон; только вашего согласия недостает для моего счастья.

- Ба! что это тебе вздумалось теперь? чего ты смотрел прежде? Отложи хоть до утра. И так ты нашу игру расстроил. А какой вистик! Я был в выигрыше. Представь: у меня был туз, король сам-третей, у адмирала...

- Не откладывайте моего счастья ни на минуту! Я хочу уехать с мыслию, что Елена моя.

- Пожалуй! я люблю тебя как сына и давно готов, жена тоже; да что скажет Елена?

- Пара! - сказала она умоляющим голосом, - faites ce, qu'il vous demande: je le veux bien!5

- Вон она что говорит! как это ты угадал ее мысли? Ну - быть так!

Отец и мать благословили дочь. Молодые люди очутились вдвоем в той же комнате, у того же флигеля, где несколько часов Адуев претерпел поражение; но кто старое помянет, тому глаз вон! Однако Егор Петрович помянул.

- Я так много страдал, - сказал он, взяв ее за руку, - вы так долго мучили меня, что... на этом месте, где легкомысленно оскорбили меня... О! вам так легко загладить оскорбление!

Он подвинулся ближе; она взглянула на него и, улыбаясь, в смущении опустила тотчас взоры в землю; краска разлилась по лицу. У обоих сердца бились сильно, оба едва переводили дыхание. Наконец он наклонил несколько голову, хотел коснуться устами пылавшей щеки ее, но она отвернулась, и роскошные, благоуханные кудри осенили лицо молодого человека... обернулась опять, как будто играя; уста его еще на том же месте, еще жаждут награды; она уже не отворачива-

лась, а глядела на него в какой-то нерешимости, в недоумении, с улыбкою. У обоих из глаз выглядывало счастье; недолго оставались они в бездействии: невидимая электрическая нить, проведенная от взоров ко взорам, укорачивалась... они зажмурились, а уста сошлись... Он обомлел и, замирая, с трепетом, преклонил колена и осыпал пламенными поцелуями руки ее.

- Ну, на первый раз довольно! - сказал барон, стоявший в дверях. Теперь пойдете ужинать.

Молодые люди отскочили друг от друга, как два голубя, испуганные выстрелом.

- Нет... мы... так-с, барон!.. - пролепетал Адуев и стоял, как школьник, почесывая голову, а Елена начала рыться в нотах.

- Ужинать! - плаксиво сказал он, - да неужели вам хочется ужинать?

- А как же нет? И тебе советую. Ты расстроил уж вистик, когда у адмирала... о! я этого никогда не забуду!.. Да еще без ужина хочешь оставить? Слуга покорный!

Прочитав еще раз ярко написанное выражение счастья в глазах Елены, осыпав еще

раз поцелуями руки ее, Адуев помчался домой - не берусь описывать, в каком положении: женихом не был, но должно полагать, что ему было приятно.

Он опять вошел в шляпе прямо в кабинет, где застал своего камердинера Елисея. Старик был всё еще не в духе от "нехорошего слова", сказанного барином. Егор Петрович заметил это.

- Елисей, - сказал он, - я тебя обидел сегодня. Виноват! не сердись на меня. Даю тебе честное слово что вперед этого не будет.

Елисей сначала выпучил глаза на барина, потом вдруг повалился ему в ноги и поцеловал руку.

- Батюшка Егор Петрович! - начал он, - ведь я холоп ваш; тридцать лет служил вашему батюшке, под туретчину ходил с ним, много господ видал на своем веку, а этакой диковинки не слыхивал, чтобы барин у холопа прощенья просил!

- Да разве стыдно сознаться в своей вине и стараться загладить ее? И притом ты больше не холоп: я отпускаю тебя на волю и даю пенсию.

- На волю!.. За что, сударь, прогневались на меня? на что мне, безродному, воля? куда на старости преклоню дряхлую голову? Век жил в вашем доме; в нем хотел бы и умереть, если не откажете в куске хлеба старику. За милость благодарен; только Бог с ней!.. Я вынянчил вас, тридцать лет служил покойному барину, под туретчину...

- Живи и делай что хочешь. Только не пора ли тебе отдохнуть от трудов? Служба твоя кончена. На вот, возьми хоть это.

Он подал ему бумажник с деньгами. Елисей посмотрел на него с одной стороны, обернул на другую, покачал головой и положил на стол.

- И, батюшка Егор Петрович! да на что мне? Нужды мы, по Божией да вашей милости, не видим: сыты, одеты, обуты; а сколько бедных без куска хлеба! Лучше пожалуйте им. От себя не отсылайте. Пока силы есть, пока ноги таскают, не перестану служить вам. Ну где молодому парню за порядком смотреть! да угодить вам! Я вынянчил вас, тридцать лет служил батюшке, под туретчину с ним ходил...

- Ты честный человек, Елисей! Бог наградит тебя. Ну, теперь послушай: я тебе новость скажу, старый...

- Что, сударь, старый? - спросил он торопливо.

- Старый мой пестун!..

- Ух! отошло от сердца! А уж я думал опять, прости Господи, старый черт скажете.

- Добрая весть! Порадуйся: я женюсь на Елене Карловне.

- Ах ты, Господи! воистину радость сказали. Привел Бог дожить до такого счастья!

Старик перекрестился со слезами на глазах, потом опять поклонился в ноги Адуеву и поцеловал его руку.

- Поздравляю, батюшка! Кабы покойный барин, батюшка ваш, да покойница барыня, матушка ваша, были живы, царство им небесное! - Старик опять набожно перекрестился и взглянул на образ. - То-то бы радости-то было! то-то бы благодарили Бога за милость! Да не привел Господь их дожить до такого счастья, а меня, грешного, удостоил. Поздравляю, батюшка! Побегу рассказать дворне! - Старик обтер ладонью слезу и, спотыкаясь, побежал

из комнаты.

Адуев почти не спал ночь, а поутру, раньше обыкновенного, начал одеваться, чтоб лететь туда, куда влекло его сердце, где его ждало другое. Кончив свой туалет, он взял шляпу и вышел в переднюю. Перед крыльцом серый рысак едва стоит на месте, храпит и роет копытом снег, как будто предчувствуя нетерпение своего господина. Человек набросил на Егора Петровича шубу и отворил уже дверь, но вдруг, как гриб вырос из земли, явился плешивый управитель с пребольшей кипой бумаг. Он низко поклонился и стал у порога.

- Что ты, Яков?

- Да к вам-с, с делами.

- С какими делами?

- Вы вчера наказывали ходить всякий раз к вам с докладом.

- Я наказывал?.. Что-то, брат, не помню. - Он подвинулся к дверям.

- Как же, сударь! вы изволили сказать: "Показывай мне каждую бумагу: я хочу сам всё видеть и знать".

- Будто так и сказал?.. Да нельзя ли отложить?

- Никак нельзя-с. Вот я приготовил ответ на челобитье мужичков, что недоимки-де сроку не терпят, - и тем, что черед в рекруты пришел...

- А, помню, помню! - сказал Егор Петрович. - Эти ответы не годятся. Напиши, что недоимки я прощаю совсем...

- Что вы, сударь! да ведь там восемнадцать тысяч! - с испугом вскричал управитель.

- Нужды нет, - спокойно отвечал Егор Петрович. Елисей с Яковым покачали головами. - Сверх того, из своих отпускаю десять тысяч на помощь самым бедным; а за рекрут деньги внести: одному дать тысячу рублей на свадьбу и на разживу, а другому столько же на поддержку семьи. Садовнику я сам куплю семян, а архитектору написать, чтобы дом совсем отделать к июню месяцу; я мебель и всё пришлю.

Проговорив это, Адуев пошел проворно к дверям.

- Вот-с... вот-с, позвольте, сударь! Еще из орловской вотчины пишут, что хлеб весь расхватили: требование большое. Не прикажете ли почать запасный? Староста пишет... Да вот

я прочту, что он пишет...

Яков вздел на нос медные очки и стал рыться в бумагах, наконец достал замасленное письмо и, откашлянувшись, начал: "Желаю здравствовать многие лета милостивому нашему батюшке Егору Петровичу, а и уведомляю, что Фомка да Гараська Лапчуки, да Горшенков Фадей, да Мишка Трофимов с отцом, с Трофимом Евдокимовым, на десяти подводах..."

- Полно тебе, Яков Тихоныч, людей-то смешить! - сказал Елисей, посмотри-ко, где Егор-то Петрович! - Он показал ему в окно на улицу, вдоль которой мчался Адуев.

Егор Петрович, видя приготовления Якова к чтению письма, каковая операция угрожала продолжиться с добрые полчаса, ускользнул в двери и - был таков! Серый рысак по-вчерашнему выбивался из сил и летел как стрела по Невскому проспекту. "Пошел!" - кричал опять поминутно Адуев. - "Эка сорвиголова! провал бы тебя взял!" - опять ворчали прохожие, глядя ему вслед.

- Ну, что скажешь, Елисей Петрович? Шутка! восемнадцать тысяч недоимки простил да

десять от себя впридачу дал - выходит двадцать восемь! На выкуп парней из рекрутчины что пойдет! Две тысячи им отпустить велел так, ни за что ни про что! Двадцать тысяч с лишком, подумай сам, в минуту махнул - что табаку понюхал!

- Не в покойника, нечего сказать!

- Человек, подумаешь!

- Что ты говоришь, Яков Тихоныч?

- Ей-Богу, право.

Старики попотчевали друг друга табаком и разошлись. Адуев явился к себе домой после всех гостей, названных накануне. Между ними был и Бронский, доставивший билет в Коммерческий клуб.

- Хорошо! - сказал ему Адуев, - а обещал быть в клубе! Где протаскался, повеса? говори! и зачем не предупредил меня об этом бале? Я, признаюсь, такой роскоши не ожидал.

- Помилуй! - отвечал тот, - не я ли целый вечер прождал тебя у дверей залы? Отчего ты не изволил явиться? Как бы, кажется, не свидеться там? Я бы уж не прозевал. Да что тебе там особенно роскошно показалось? В твоей передней, право, не хуже.

- Помилуй! прислуга в бархате, в золоте! всё блестит, везде мрамор, бронза! какое освещение! какая мебель! целая картинная галерея! А общество! а тон! а приличие, вкус в нарядах! Меня всё с толку сбило. Хоть бы у посланника, так...

- Прислуга в бархате?.. мрамор... бронза... тон... приличие... общество? - с изумлением, протяжно повторял Бронский. - Помилуй! в уме ли ты? И что там за общество? придворных, что ли, ты там видел? или дипломатический корпус?

- Весь, братец! А графиня Z*? а P*? а все денди?.. Да вот спроси у Дружевского. И он был там. Не правда ли, Дружевский, что вчера на бале были все посланники и вся петербургская знать?

- Да, все были.

- Да на каком бале? позвольте спросить? - сказал Бронский.

- На том, где мы были вчера с Адуевым; у неаполитанского посланника.

- Поздравляем! - закричали все с хохотом, - ты из одной крайности перешел в другую: бывало, никто не дозвется тебя, а тут без зову

пожаловал!

И молодые люди пустились хохотать и острить. - Адуев призвал кучера и спросил, куда он вчера возил его.

- Да куда вы приказывали: на бал, на Английскую набережную. У того дома всегда видимо-невидимо карет стоит, а в окошках огни горят, когда ни проедешь. Я и смекнул, что, должно быть, там.

Адуев расхохотался вместе с прочими при этом наивном объяснении, особенно когда узнал, что "помешанный" старик, пристававший к нему, был сам хозяин, неаполитанский посланник.

Поднимая первый стакан шампанского... Заметьте: я сказал, не бокал; это бы был анахронизм; в обществе молодых и холостых людей шампанское из бокалов не пьют...6 Поднимая первый стакан шампанского, Егор Петрович предложил тост за здоровье баронессы Елены Карловны Нейлейн, своей невесты. Молодежь восторженно встрепенулась, шумно вскочила на стулья и хором поздравила счастливица. Дурачеств было наделано немало в тот день.

К посланнику Егор Петрович отправился

с извинением и как тот знал барона, то охотно познакомился и с ним и обещал, в благодарность за приезд его на бал, быть у него на свадьбе, на которую я приглашаю моих читательниц и читателей.

1 "Черт возьми!" (англ., искаж.; правильно: "God damn!")

2 А! здравствуй, дорогой Жорж! (фр.)

3 превосходно, не правда ли? (фр.)

4 эссенции апельсиновых цветов, нюхательной соли (фр.)

5 сделайте то, о чем он просит вас: я этого очень хочу (фр.)

6 Примечание для читательниц (примечание Гончарова).